

ОЛЬГА КОРЗОВА

## “ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ ДАНО...”\*

*Да, на войне у них было особое задание, у девчонок, которые пришли “на фронт от школьных парт”. Военное дело — это во все времена мужская работа. Из глубины памяти встаёт образ — воин, прежде чем вскочить в стремя, обнимает мать, прощается с женой, поднимает высоко-высоко дитя. Миг — и он уже в седле. А там запели трубы, развернулись знамёна, и вот уже топот копыт стихает вдали. А она — мать, сестра, любимая, дочь — остаётся ждать, смотреть на дорогу, считать дни.*

*Но двадцатый век перевернул все эти представления. Да, и раньше бывало иное: и Василиса Микулишна, своими косами мужа из беды выручившая, и Авдотья-рязаночка, и кавалерист-девица Надежда Дурова, и старостица Василиса Кожина, и баронесса Юлия Вревская, и сестра милосердия Даша Севастопольская... И раньше дивились женской отваге, стойкости и милосердию. Но только в веке двадцатом девушек стали призывать на фронт.*

*На моём рабочем столе лежат записки моей родственницы. Я видела её лишь однажды, в 1987 году, когда мы с мамой решили побывать в городе Бор, что стоит напротив Нижнего Новгорода, на другом берегу Волги. Двумя годами раньше умер брат деда, “дядя Ваня”, как называла его моя мама. Мы поехали навестить тётю Олю, его жену, и Наташу, старшую из двух дочерей в семье Зыковых, жившую вместе с матерью. Нас очень радушно приняли, было много разговоров, рассказов, но, честно говоря, меня, ещё совсем девчонку, тогда больше интересовал Нижний Новгород, его старинный Кремль, набережная, места, связанные с именем М. Горького. Я, конечно, знала, что тётя Оля — участница войны, но о войне часто вспоминали и дома. Юность безрассудна, о многом жалеешь впоследствии: не спросил, не сказал, не сделал. Особенно когда знаешь, что уже не спросить и не сказать.*

*Тётя Оля умерла в один год с мамой, в 2007-м. Записки написаны давно, но читаю и точно слышу её голос.*

### **О девушках, войне и белых сухариках**

...Я никаких героических подвигов не совершала, а просто выполняла боевые задания, которые мне поручали... Последовательно изложить не получится. Записи делать и отметки, даже письма хранить было не положено, а поэтому в памяти удержать весь пройденный путь просто невозможно. Всплывают в памяти разные эпизоды, а какие пункты, названия местности —

\* Так звучит строчка из стихотворения о войне героини очерка Ольги Степановны Козловой.

многого не помню. Топографическая карта была только у командира, и ночевать нам приходилось почти каждую ночь на другом месте.

1942 год — это был год самый тяжёлый. Родина в опасности. Тогда было массовое добровольное поступление на фронт. Много пошло девушек, в том числе и я.

Не забыть 11 сентября 1942 года: нас, целый эшелон девушек, провожали с Московского вокзала города Горький. Мужчин, как правило, отправляли ночью, отец поцелует своих спящих детей и уходит.

Нас же, девчонок, провожали днём. Было очень много народу около каждого вагона, все в слезах. Гудок прогудел, поезд тронулся, и некоторые матери так и рухнули на землю, крича вдогонку: “Доченька! Доченька!”

Девчонки тоже кто ткнулся на лавку, кто рухнул прямо на пол — все плачут. Когда мы приехали на Калининский фронт, майор Леонов, который нас сопровождал, сказал: “Кто мне первый бросился в глаза из девушек — это Козлова. Она одна не плакала, а ходила по вагону и всех уговаривала: “Девушки, не плачьте! Девушки, не плачьте!”

В 1942-м я окончила культпросветшколу, это, конечно, повлияло на мою устойчивость. Надо силы беречь, едем не на прогулку.

*Ольгу Козлову заметили, но не сразу она получила своё особое задание. Сначала её, как и других девушек, поместили в деревне.*

Сделали нары, постелили соломы — наша постель. Всех остригли машинкой, оставили только чёлку, а Лида Козмина говорит: “Меня же стригите наголо, мы ж солдаты”.

Мы были писарями и выполняли другие работы. Пилили дрова, воду носили.

Я подружилась с Капой Васильевой. Это была худенькая девочка, здоровьем слабенькая, а такая старательная. При такой нагрузке часто болела. Мне хотелось ей помочь, я была крепкая. Бывало, напилим дрова, говорю ей: “Капуленька, не таскай помногу, а то сядь, посиди, я сама всё перетаскаю”. Однажды она тяжело заболела, я пошла к майору Леонову, доложила. Он мне говорит: “Поди сходи в столовую, там беленькие сухарики есть, скажи, что я приказал”. Я бегом побежала, дали мне два поклёванных сухарика. Прибегаю, говорю: “Капуленька, я тебе беленьких сухариков принесла”. Она: “Ой, Лёленька, я не хочу”. Я говорю: “Врёшь! Как ты не хочешь белых сухарей?” Она заплакала. Я стала её уговаривать. Я ж никогда в жизни не болела.

Нас кормили очень плохо, в основном овсянкой. Утром овсянка, днём суп из овсянки и вечером. Притом она горькая — склады горели. А сухарики: утром — два, днём — два, вечером — два, мы как прянички ели.

Так трудно было, что девчонки иногда плакали. Особенно Шура Новожилова: встаёт — плачет и ложится — плачет. Мы же с Лидой Михайловой начнём плясать, я подпеваю: “Капусту с картошкой я очень люблю!” Шура сидит на нарах, ковыряет на ремне ещё одну дырку, говорит: “Козлик, не пой про еду, у меня и так кишка кишке кукиш кажет”.

А когда встанем в строй, Шурка кричит: “Козлик, запевай!” Запеваем: “Эх вы, кони, вы, кони стальные!” С песней легче: не чувствуешь ни голода, ни усталости.

*Без сомнения, замечены были командованием стойкость, выносливость Ольги Козловой, её жизнерадостность, готовность помочь другу. Все эти качества были необходимы для трудного военного дела. Вскоре Ольгу отправили для обучения оперативной работе. Так она стала шифровальщицей.*

*В феврале 1943 года в составе группы майора Губанова Ольгу направили ближе к передовой под Смоленск. Группа попала в окружение.*

Три дня ничего не ели. Приказ — прорвать оборону противника. Солдаты, одетые в шинели, в обмотках, зимнее — только шапка-ушанка на них. Тянут на себе по глубокому снегу пушки. . . Страшный грохот, а в душе радостно: наши застучали.

*С группой майора Губанова была под Смоленском, под Новгородом, под Ленинградом, под Старой Руссой.*

*В июне 1944 года её отправили на передовую в группу старшего лейтенанта Канцелярского.*

Не забыть мне страшные первые обстрелы. От взрыва бомб и снарядов земля дрожит, как живая. Канцелярский кричит: “Прыгай в траншею, рот не закрывай”. Я быстро прыгнула, там вода, грязь. Шинель длинная, растопырилась по воде, как у павлина хвост. Кругом гудит, воздух чёрный, во рту земля на зубах скрипит. Лёша Шадриков кричит: “Лёля! Иди скорее сюда, у тебя руки почище – перевяжи”.

Сидит солдат, в голову ранен. Вся голова и лицо залиты кровью. Я так напугалась, я ведь не медик. У меня руки и ноги задрожали, и сама вся дрожу. Глянула кругом – ребята-то все заняты. Сразу мелькнула мысль: “Что ж я, дура, стою, ведь он ждёт от меня помощи”. Куда страх девался. Волосы у него длинные, бинта мало. Думаю, обрежу сначала волосы. Быстро взяла ножницы, срезаю волосы, стараюсь тихонько. Спрашиваю его: “Очень больно Вам? Потерпите немножко, я сейчас!” Он сидит на земле, зубами скрежещет, говорит мне: “Режь, дочка”. Забинтовала...

*Работа оперативной группы заключалась в доставке советскому командованию сведений о противнике. Для перехвата ценной информации приходилось подходить на близкое расстояние к врагу, а иногда бывать и на вражеской территории. На каждом шагу подстерегала опасность взорваться на минах: гитлеровцы минировали дороги при отходе. Не было возможности долго находиться на одном и том же месте, так как враг мог обнаружить работу советской группы и уничтожить её. Всё надо было делать быстро. Ночевали где придётся, не раздеваясь, не разуваясь, шагали по разбитым дорогам, по топким болотам, в дождь и слякоть, в мороз и зной.*

Никогда не забудутся прибалтийские болота и леса, чудом уцелевшие сараи, где нам приходилось укрываться, чтобы набраться сил и двигаться вперёд. До сих пор в ушах звенит команда: “Быстрее, быстрее, ребята, – немцы!”

... Я всё время думала: рано или поздно нас схватят или уничтожат. Я одного боялась: только бы не попасть живой к немцам. А под Ригой они меня оставили у немцев. Мы уже сделали своё дело, только бы уйти. Ребята были в сарае, а я в блиндаже, метрах в 100–150 от них. Слышу, кто-то из ребят крикнул: “Лёля, немцы! Мы уезжаем”. Сарай взлетел в воздух, а я из блиндажа бросилась в кусты. То ли я запнулась, то ли волной меня сшибло, я упала. В глазах темно, потом появились разноцветные радуги. Лежу, тру, тру обеими руками глаза. Посмотрела на небо, а верхушки деревьев кружатся. Мелькнула мысль, что я убита. Ведь когда я напугалась первого обстрела, Лёва Журкин мне сказал: “Не бойся, Лёля, снаряд свистит – он мимо летит, а убьёт – не услышишь”. А тут только в голове гудит и кружится перед глазами. Я быстро тронула руками ноги, туловище – всё на месте, быстро вскочила – и в кусты. Я бежала вдоль дороги по лесу. Одна мысль меня не покидала: если заметили немцы, собаки меня догонят. Бежала что есть силы, потом уже не бежала, а ползла, за каждую кочку спотыкалась и падала.

Километров на десять отошли ребята. В лесу мне попался солдат и говорит: “Вон там на развилке ваши стоят – переживают». Видимо, всей части стало известно, что я там одна осталась, потому что этого солдата я не знала. Я вышла на дорогу, ровное место, а ноги не шагают. Подхожу к ребятам, они брюкву едят и все молчат. Лёва Журкин отрезал, даёт мне кусочек: “На, Лёля”. А Лёша Шадриков говорит: “А мы уже думали: тебя немцы терзают”. Я ответила: “Ну да! Я убежала!”

Было трудно бежать. Ноги скользили в сапогах. Вынула ноги из сапог – они в кровь стёртые. Думаю, сейчас обмою, тут рядом лужа. Взяла кружку, только капнула на ногу водой, так задрало – силы нет, у меня хлынули слёзы. Я в первый раз заплакала. Я не знала, что нельзя водой стёртые ноги. Сижусь, и слёзы у меня ручьём льются. Никто ко мне не подходит, никто ничего не говорит. Ноги утихли, я перестала плакать, натянула на окровавленные ноги чулки и пошла. Лёва Журкин ко мне подошёл: “Лёля, тебе умыться надо”. Я в этой луже умылась, и дальше тронулись.

*Нелегки дороги войны, и нам, послевоенным поколениям, остаётся только удивляться: как они вынесли, как сумели перестоять...*

Насколько мы были измотаны, и сами не замечали. Например, вошли в Велиж, он весь сожжён, одни печки стоят, не греют и не дымят. Единственная на горке гостиница каменная тоже обгорелая, без окон, без дверей. Ребята на самом входе к окну приставили железную кровать, накрыли её плащ-палаткой, чтобы не дуло. Затопили печку, чтоб маленько согреться. Я прильнула щекой к тёплой печке и рухнула камнем на пол, на угли и обгорелую грязь. Кто-то из ребят спросил: “Лёля, что с тобой?” Я валяюсь на этом грязном полу и сама не пойму, почему я тут свалилась. Мне так стало стыдно. Быстро вскочила и стала помогать ребятам.

Больше всего, когда я была свободна от своей работы, я помогала Акулову. Он отвечал за еду. У нас было два ведра, в которых мы варили суп, кашу, чай. Нам давали пачки каши. Вода закипит, бросим, и готово, потом опять нальём воды или снегу на чай. С водой не всегда легко. Стоит деревянная, одни печки и пепел, посередине колодец. Качнём бадьёй, а в колодце людей накидано...

Солдаты на земле лежат необрунные. Думаешь, ждут от него дома уголочка, а он лежит. И обидно видеть: наш солдат лежит с винтовкой, а фриц — с автоматом...

Нам каждый день давали фронтовые сто грамм водки, но я никогда не пила, даже в страшный холод. Ребята говорят: “Выпей, немножко согреешься!” Я говорю: “Нет, а вдруг сводку передавать, я могу ошибиться”. Я знала, какую ценность имеет наша шифровка — точные данные. Добывали их ребята, и я старалась им во всём помогать.

Ребятам табаку не хватает. Как они нервничают, дожидаясь пайка... Девчонкам вместо табака давали конфет. Говорю ребятам: “Получайте за меня табак, обойдусь я без конфет”.

Осенью под Ригой на полях везде картошка, нароем. Однажды Акулов ко мне подходит: “Лёля, ребята картошку не чистят”. Я говорю: “Как не чистят?” Они видят: я ничего не делаю, хотят, чтобы и я с ними села. Взяла ножик, и быстро дело пошло, уже полное с верхом ведро. Акулов говорит: “Хватит!” А они всё кидают: “На, Акулов. Не жалуйся!”

Окружили нас танкисты, говорят: “Что это у вас младший лейтенант (это про меня) картошку чистит? За что она у вас провинилась?” Говорю старшине: “Прогони всех!” Костёр тухнет, прямо кольцом стоят, как на зверушку смотрят. Я ушла, спряталась. Вижу: наш костёр и только наши ребята...

После боя тяжело было смотреть на раненых солдат, перевязанных не только бинтами, а и нижними своими рубашками, рвут их и перевязывают. Они сидят на бугорке, ждут, когда за ними придут. Мы с ребятами бежим мимо, на сапогах грязи налипло, тащишь, как пудовые гири. Ребята бегут — ничего, а мне кричат: “Дочка! Сестричка!” Я им ответила: “Я не медик”. Как они начали меня ругать, какими словами только не обозвали. “Чего тебе тут делать-то, в этой мясорубке, раз ты не медик!” Значит, они подумали, что я ППЖ. Около других бежим, я уже не говорю им, что не медик, а отвечаю: “Сейчас! Сейчас!” А сама бегу за ребятами...

Заскочили в землянку, все не влезает. Старшина говорит: “Ляжем боком, поворачиваться будем по команде”. Я легла около двери. Уснули — как нажали, аж кости больно. Вылезти не могу. Расстегнула шинель — вылезла. Сразу ребята подвинулись и моё место заняли. Стала тащить шинель, и шинель не могу вытащить: она примёрзла за рукав и подол. Вытащила, а угол подола оторвала. Пришлось обрезать шинель. Лоскутки пригодились, в сапоги стельки положила, тем более у меня портянок не было. Из портянок я лифчик сшила. Да и другие кусочки пригодились мне. Губы обмётаны, все мы в чирьях, под пазухой, на спине — больно, но терпим. Проткнётся, засохнет и пилит, как пилой.

Однажды вскочил чирей на левой брови, на переносице, голова трещит от боли, опухоль закрыла глаза. Лёва Журкин бежит: “Лёля, скорей передай!” Говорю: “Лёва, я не вижу!” Беру пальцами, раздвигаю глаз — слеза течёт.

Он говорит: “Пойду командиру скажу”. Я говорю: “Да что ты скажешь? Он только заругается. Скорее надо передавать. Прочитай, я вслепую буду делать”. Ключ простучал – сразу уходим.

На другом месте разожгли костёр, вода стала нагреваться. Я зачерпнула в кружку, полотенце обмакнула в тёплой воде, стала прикладывать к чирью. Сколько мне ещё с тобой мучиться?! Взяла ногтями за головку, дёрнула, как гвоздь жёлтый вытатила. Адская боль, искры из глаз, и кровь по щекам хлынула. Закрыла полотенцем и так долго сидела. Потихоньку успокоилась, и опухоль стала сходить – огромная радость.

Ребята некоторые не выдерживали – заболели, их заменяли, а меня они звали – каменная.

### **О фронтовой любви, начальниках и газетах**

*В фильмах о войне девушка окружена особым романтическим ореолом. Вспомним фильмы: “А зори здесь тихие”, “В бой идут одни старики”, “Звезда”, “Белорусский вокзал” и мн. др.*

*Но жизнь не всегда совпадает с фильмом или книгой, и отношение мужчины к женщине может быть иным.*

Много говорят о фронтовой любви, это вопрос сложный, кому как повезёт. Меня этот вопрос шокировал – это же эгоизм, всяк дурак хочет любви. А когда в такой сложной обстановке, когда их пятнадцать, а ты одна! Лёва Журкин мне в любви признался, почву под собой потерял, также и другие ребята по-разному мне говорили...

А старшина Феладоненко по-другому действовал. Стою около машины, он подошёл ко мне и положил руку на плечо. Я ему сказала: “Не забывайте!” Он ответил: “Подумаешь, младший лейтенант, да вас после войны в бочках солить будут”. Говорю: “Солонину будете есть”. Он: “Ну да, там, в тылу, молоденькие, свеженькие подрастут”. Я ответила: “Свеженькие быстро стухнут, а мы, просолённые и прокопчённые, всегда будем вкусны”. Он: “В гражданке на вас и смотреть никто не будет. Кто из девушек служил в армии, тот последний человек, вас за 10 километров обходить будут”. Говорю: “Вот кончится война, вы увидите меня – не за 10 километров обходите, а за 100”. Он: “Смейтесь-смейтесь, а будет так”. Потом ребята Феладоненко “напрасный страдатель” звали.

Однажды мы подъехали на машине, ребята кричат: “Лёля, скорее передать надо!” Я стала с машины слезать, поставила ногу на колесо – холодно, да под мышками чирьи, больно – не удержалась, упала и поехала по ледяной корке. Шинель загнулась. Канцелярский: “Ха-ха-ха! Ляжки-то какие красивые!” Я быстро посмотрела на ребят, кто как реагирует. Лёша Шадриков склонил голову, Вася Чалый тоже и другие ребята, только весело Канцелярскому и Феладоненко. А я так замёрзла, что костям больно. Скорее взяла депешу и стала делать. Руки карандаш не держат. Себе внушаю – жарко. И пальцы грею, только во рту и губы тоже обмётаны, больно рот разевать...

А то и так бывало: ругает меня Канцелярский нецензурной бранью, кричит, аж слюна брызжет. Я стою по стойке “смирно”, его не слушаю, сама себе шепчу: “Пусть мои силы маленькие, я должна помочь Родине”. Он накричится, даст мне депешу – скорее надо делать, бегом побежала.

Я старалась при любых обстоятельствах держаться и никогда не плакала. Мне нельзя. Если я расстроюсь, наплачусь, я же могу ошибиться.

Я шифрую, знаю, что значит для нашей армии даже самое маленькое донесение. Для примера приведу наступление на Ригу. Наши подтягивают войска к хутору Сисени. И вот перехватываем: одиннадцать ноль-ноль – огонь по Сисени, а время половина одиннадцатого. Скорее передать! Мы, как правило, не знаем, какое решение примет командование и какие результаты. А это помню, пришёл Канцелярский и говорит: “Живую силу успели отвести, хозяйственные части пострадали”. И только наша сводка, переданная советскому командованию, сохранила жизнь солдат.

Поэтому я расстраиваться не имела права, ни при каких обстоятельствах. А потом меня не покидала мысль: рано или поздно нас немцы схватят, будет ещё трудней, а тут все свои.

Мы, вся группа, заняты своим делом — добываем сведения о противнике. А как дела идут на фронтах, мы не знаем, фактически изолированы. Ребята меня избрали комсоргом, иногда бывали моменты сходить в политотдел и попросить там газеты. Но это очень редко случалось, потому что всегда мы были от них далеко. Однажды командир говорит: “Лёля, сходите с Шадриковым в политотдел, попросите газеты, здесь близко, километров семь-восемь”.

Лёша вскинул автомат на плечо, и мы пошли. По дороге он рассказал о себе, говорили обо всём. Он мне посоветовал изменить отношение к командиру. А что мне изменять? Я выполняю всё, справляюсь со своей службой, за всё время ни разу запросов не было. С первого раза передала — поняли. Не нужна — пусть отправляют в другое место. Куда ж с передовой отправлять? Разве только в тыл к немцам. Куда пошлют, туда и поеду.

А то я знаю, какое хорошее отношение у девочек с начальством. Через пять месяцев тебе вручат чёрный паспорт, и езжай домой. Зачем мне это надо?

... Пришли в политотдел, я майору доложила, что мы из спецгруппы, изолированы и не знаем, какая обстановка на фронте. Он мне дал две газеты: центральную “Правду” и фронтовую. Ребята обрадовались, прочитали все статьи — хоть стали в курсе событий. Потом газеты порвали аккуратно, сложили для курева. На другой день пошли мы с Колей Новицким. Сказала майору, что ребята ваши газеты на курево изорвали. Он сказал: “Ну, я вам больше не дам газет, они мне нужны. — Потом, улыбаясь, говорит: — Приходите ещё”. Дал мне журнал, свежие газеты и старых — это ребятам на курево. Но нам больше не удалось прийти, всё осталось у нас.

### **По дорогам войны**

*“Каменной” приходилось несладко. Читаю воспоминания, и поражает её выдержка, стойкость, умение перетерпеть, — наверное, правильнее сказать “претерпеть” — любые боли и испытания.*

Дожди, холод, изморось, шинель мокрая, сушиться негде, а солнышко выглянет — смотришь, от солдатских шинелей пар идёт: всю зиму невытые. Тело какой-то коркой покрыто. Вши кусаются, особенно в поясе, под пазухами чешется до изнурительной боли. Ребята на костре вытрясают свою одежду. А я как? — Так и хожу. Правда, при малейшей возможности я старалась стирать. Я стирала в ведре, в котором мы обед готовили. Конечно, я не купала в нём, а делала так. У меня была фанерочка с тетрадный лист, всегда в планшете лежала с шифром. Я на этой фанерке шифровала, и в стирке она меня выручала. Я на дощечку положу штаны, потом рубашку, лифчик и сверху полотенце — все мои вещи. Нагреется вода, кружкой зачерпну, поливаю полотенце, потру его, вода проходит на лифчик, потом лифчик потру, опять кружечкой полью, водичка на рубашку стечёт. Так два раза кружечкой полью, водичку видело — и хватит. Рубашку, она же мужская, и полотенце на кустик повешу, где придётся. А лифчик и штаны расстелю на вещмешок и закрою плащ-палаткой. Неудобно же, одни солдаты кругом. А когда ложусь спать, на себя положу, плащ-палаткой прикроюсь, чтобы скорее подсохло. А бывало и так: дождь промочит, всё сырое, так и ходишь, на себе, пока не высохнет — костёр выручает, но не всегда можно костёр разжигать. Так же и голову мыла. Когда поедим, попрошу Акулова, чтобы он водички принёс и на костёр поставил, я голову помою или стирать буду. Из ребят никто мне никогда не возражал, что я так из ведра стираю и голову мою. Я скажу Акулову: “Принеси водички”, — он всегда ответит: “Сейчас, Лёля”. И вообще ребята ко мне доброжелательно относились.

Заскочили как-то в сарай вечером, а утром смотрим: из соломы фриц вылезает. Мы сразу не поняли, то ли в плен попали, то ли что, а фриц видит — нас много, поднял руки и говорит: “Гитлер капут!” Такая была стрельба, грохот страшный, а он уснул и не слышал, как немцы отошли. Немцы тоже измучены до предела.

А то и так бывало. Снег сыплет в щели сарая, дует, холодище, невозможно спать. Если уснёт кто, будим — боимся, как бы совсем не уснул. Но ребята такие смывлёные на всё, что-нибудь да придумают, особенно Володя Оськин — наш Тёркин. Валялась тут скрипка с одной струной. Он взял её, подал Николаю Новицкому и ещё железяку дал и говорит: “На, Колька, сыграй, а я

спляшу”. Николай взял скрипку и этой железякой на одной струне – “пик, пик”, а Оськин разулся и босиком начал плясать. Мы все засмеялись, так насмеялись, что жарко стало. А Володя говорит: “Вот и я нагрелся, можно поспать”.

Только легли, уснули, меня дёрнули за рукав: “Лёля, передать надо”. Ключ простучал – Канцелярский кричит: “Ребята, скорее, уходить надо!” Побежали, а ветер со снегом в лицо, аж режет.

Остановились у лесочка, ночь, даже не верится, что так тихо. Воздух едучий, сырой – зябко, холодно, кости ноют, спать не могу. Ребята на земле около машины спят. Распластались кто как. Один Лёва Журкин ходит, на плече автомат. Подходит, спрашивает: “Вы, Лёля, не спите?” Говорю: “Нет, зябко, не могу уснуть”. (Спросили бы меня, чего тебе хочется, я бы сказала: “Выспаться и поспать в тепле, раздетой”. А то я на машину то залезу, то слезу). Смотрю кругом: зарево, зарево, языки в разных местах, горит что-то, насчитала девять очагов. Лёва говорит: “Немец отступает, деревни жгёт”.

Подъехали к деревне. В деревне стоят одни печки да угли. Ребята где-то под мостом нашли мешочек с мукой. Говорят мне: “Лёля, умеешь печь хлебы?” Говорю, что умею, а сама никогда не пекла, видела, как мать делала. Акулов был болен, лежал на машине. Мы с Магером, с шофёром, стали печь хлебы.

Я в ведре замесила, поставила к костру подниматься. Легли спать. Магер меня будит: “Лёля, вставай, будем хлеб печь”. Я посмотрела в ведро, а тесто нисколько не поднялось. Подлила водички, положила соли и замесила всю муку, полное ведро. Магер печку истопил и подмёл жар к одной стороне – печка большущая. А как тесто туда класть, не знаем. Нет ни противня, ни ухвата. Говорю ему: “Я буду делать лепёшки, шарики, а ты кидай прямо в печку. Я скатываю шарик, даю ему, он со всего размаха – бултых! – в печку. Ребята смеются: “Посмотрите, как Лёля с Магером хлебы пекут!” Говорю: “Уходите, не мешайте, а то и хлеба не получите!”

Испеклись пресные, тёпленькие, мягонькие, а где и пригорели – всё съели. Мы уж не помним, когда хлеб-то ели.

Едесь, видишь: не только солдаты убитые лежат, а много гражданских. Старики, старушки, женщины, дети – убирать некому. Немец тифом заражал гражданских. У нас тоже ребята двое заболели, их сразу отправили.

На краю банка, там бабушка жила и Лёшенька, пяти лет. Бабушка увидела нас – замолилась, заплакала: “Сыночки! Сыночки!”

Лёшенька был в тифу. Бабушка пошла в баньку, и я за ней. На лавке лежал Лёшенька. Мне показалось, что ему лет пятнадцать, длинный такой, глаза чёрные, большие, умные. Увидел меня, обрадовался, тихим голоском: “Наши пришли, наши...” А бабушка стала молиться и говорит: “Ты бы умер у меня, Лёшенька, а потом я, старая, за тобой – кормить-то мне тебя нечем”. А Лёшенька говорит: “Нет, бабушка, я не умру – наши пришли!”

Бабушка на поле собирала прошлогоднюю картошку, варила в консервной банке и тем кормилась с Лёшенькой. У меня был в кармане кусочек сахара, я положила его в ротик Лёшеньке, думала, он обрадуется, сосать будет. А он стал заглатываться, в ротике-то у него сухо. А бабушка взяла у него из ротика сахар и говорит мне: “Дочка, а он и не знает, что за сахар...” Бабушка в печке всё время поддерживала огонь, спичек-то у неё нет. Мы дали бабушке спичек, соли, сухарей, брикет каши – чем солдат богат. Бабушка рухнула на землю, в ноги кланяется: “Сыночки... Господь вас спаси...”

Мы, девчонки, скромные были, по нужде сходить ждётся от темна до темна – кругом солдаты. Остановились, рядом разваленный сарай, бурьян высокий, думаю: сбегая скоренько. Только подошла – бежит бегом солдат, остановился, пистолет приставил к виску, выстрелил и рухнул камнем на землю. Я так напугалась!.. Лежит он вверх лицом, руки в стороны и пистолет в руке. На выстрел быстро солдаты подбежали, и капитан бегом бежит. Как схватил у него гвардейский значок у груди, так вместе с куском гимнастёрки и выхватил. Тут же понесли его. Это оказался танкист, повар. Я всё думала, как он мог так дешёво жизнь отдать.

А может, он с ума сошёл... Немало солдат с ума сходило. Без отдыха вперёд, вперёд, не давая врагу передышки, под пулями, под снарядами, под бомбёжкой. Это же не один день. Находиться в нечеловеческих условиях, ночевать где придётся, хорошо – в землянке, в блиндаже, в сарае, а то

и под открытым небом, длительное время не раздеваясь, не разуваясь, все в чирьях, болячках, во вшах.

В деревне Засигово в Белоруссии стоит Соня, учительница, у неё правую руку оторвало при бомбёжке, в левой руке — четырёхмесячный Вовочка, Боря, полтора года, за подол держится. Она вся в слезах — кормилицу-то у меня убили. Старшему сыну Саше было 10 лет, он сбегает в деревню к бабушке, наберёт варёной картошки за рубашку и бежит к матери в лес, она была у партизан. По дороге остановил Сашу немец, посмотрел, что у него за рубашкой, сказал: “Партизан!” — и убил его. В деревне нет ни одного дерева, все спилены вплоть до леса, чтобы было видно как на ладони.

Командир очень беспокоился и заботился о ребятах во всех отношениях. Однажды перед боем на передовую приехали артисты. Канцелярский говорит: “Лёля, возьмите ребят, пойдите посмотрите концерт, мы тут недалеко”. А сам всегда остаётся с половиной ребят за делами.

Подходим: солдат — море, кто сидит на земле, кто стоит. Концерт на машине. Солдаты хохочут. Комические вещи, как Гудериан сменил фамилию на Удериан и т. д. Я стояла в кругу ребят. Подходит ко мне лейтенант, надо что-то спросить, старший лейтенант, капитан, майор — оказалась в кольце офицеров. Получилось так: ко мне подходит офицер — ребята шаг назад, подходит другой офицер — опять шаг назад. Я не хочу с ними разговаривать, смотрю на машину. Оглянулась кругом: где у меня ребята-то? Напугалась — нет их. Они стоят сзади, далеко от меня, так кучкой и стоят. Я швырк от этих офицеров к ребятам, говорю им: “Больше не пячьтесь”. Я везде только со своими ребятами.

Где-то ребята подхватили лейтенанта немца. Смотрю: Шадриков и Акулов около него. Немец снимает хромовые сапоги, Акулов обул их, а свои кирзовые отдал немцу, а Лёшка взял у него часы. Немец всё смотрит и смотрит на меня, но я к ним не подхожу.

Акулов, наш признанный повар, около костра готовит кашу, а ребята: “Поглядите-ка, поглядите, наш Акулов-то в хромовых сапожках, когда наш командир в кирзовых”. А брат у пленных ничего не положено. Ребята сказали Канцелярскому: “Лёля видела, как Акулов с Шадриковым разували его”. Командир меня спрашивает: “Младший лейтенант Козлова, скажите, как Шадриков с Акуловым раздевали немца”. А я ответила: “Они сидели на кочке, и ребята давали немцу закурить, и больше ничего я не видела”. Думаю: подумаешь, сапоги, вон они у нас что делают, всё жгут, а на виселицах наши гражданские старички босиком висят, болтаются на верёвке, да ещё и подход к ним минируют, подойдешь и взорвешься.

...Страшно грязные, непроходимые наши русские дороги. Наступление, подтягиваются войска. Колонны машин, крытые брезентом. Колёса наполовину в грязи, буксуют. Солдаты на себе машины вытаскивают, вымотаны все до предела, ноги вязнут в грязи до колен. Обычно колонны машин передвигаются ночью, а эти днём застряли в грязи. Бомбёжка — как полетело всё в воздух! Солдаты в разные стороны, всё в месиво превратилось. А у нас была машина “студебеккер”, американская. Она, как танк-вездеход. Думаешь: ну, сели в грязи, а она, как поросёнок — хрю-хрю — и попёрла. Мы никогда нигде не застревали, и тут мы от бомбёжки уехали — спаслись.

## Рига

13 октября 1944 года вошли в Ригу. Утром из подвала вылезают женщины и дети, увидели меня. Ребята говорят мне: “Лёля, там женщины вас просят”. Подумала, зачем им я понадобилась. Я подошла, а они чуть не хором: “Девушка, вы женщина, и мы женщины, скажите, нас будут убивать и вешать русские солдаты? Нам немцы сказали”. Я никак не ожидала такого вопроса, говорю: “Не бойтесь, никто вас не тронет. Мы освободили ваш город, вы свободны, вы хозяйка своего города”. Они: “Девушка, вам трудно одной среди солдат?” Я ответила: “Нет, мне не трудно, я среди своих. Вот кто в застенках у фашистов, тем трудно. Всеми силами стараемся скорее их освободить. — Девушка, нам немцы сказали, что русская армия с голоду подыхает”. Я ответила: “Посмотрите на наших ребят. У нас тыл крепкий, свою родную армию всем необходимым снабжают. Скоро придём в фашистское логово”. Они ещё хотели со мной поговорить, но ребята меня крикнули, надо было передавать шифровку.



Командир мне сказал: “Лёля, возьмите ребят, идите посмотрите город”. Восемь ребят быстро встали по двое, автоматы на плечо и пошли посредине улицы. Из подвалов вышли старушки, старички и дети. Мы идём по улице, а старики и старушки при виде нас встают на колени и головой в землю кланяются. Я сначала подумала: “Какие религиозные...” А потом слышу: “Смотрите! Смотрите! Девушка-офицер солдат ведёт!” Так это они нам в ноги кланяются. Мне как-то неудобно стало. Я ребятам сказала: “Идите вольно”. А старшина Феладоненко одёрнул гимнастёрку и говорит: “Что нам вольно идти? Нас офицер ведёт!” Я сказала: “Идёмте обратно, я останусь, а вы пойдёте одни город смотреть”. И повернули обратно.

Канцелярский поехал в дивизион, сказал мне: “Лёля, остаётесь за меня, приеду завтра”. Меня пригласили две женщины, а ребята в другой комнате. Женщины положили меня спать на кровать, на перину. Мне казалось, что это во сне, я тут же уснула. Просыпаюсь: свет горит, обе женщины не спят. Спрашиваю: “Вы почему не спите?” Они: “Мы боимся. — Кого? — Там солдаты”. Я: “Что, немцы?” Они: “Нет, русские”. Я встала, пошла к ребятам. Дом четырёхэтажный, и по всей лестнице сидят с котомками старики, старушки, дети. Пришла в комнату ребят, шум у них, они борются, выпивши. Я сказала старшине: “Товарищ Феладоненко, идите, посмотрите в коридоре! Люди вас боются, не спят”. Вышла, обратилась к этим людям на лестнице: “Идите спать! Вас русские солдаты не тронут, не бойтесь!” Они: “Спасибо, девушка, спасибо...”

Приехал командир, двинулись дальше.

### Отпуск

Я знала: кое-кому, кто находится на передовой, когда наши берут города, улыбается счастье — дают отпуск. И я написала рапорт. Мне дали отпуск на 10 суток. Какая радость...

В Горький приехала рано 7 ноября 1944 года, на 27-ю годовщину Советской власти. Только сошла с поезда, люди видят — девушка в полевых погонах, все с такой тревогой спрашивают: “Откуда, девушка?” Говорю: “Из Риги”. Всем хочется узнать, как дела на фронте. И в первую очередь спрашивают: “Совсем приехала?” Говорю: “Нет, на 10 дней. Кто на передовой был, кое-кому выпадает счастье, вот и мне выпало”. Около вокзала шофёр на грузовой машине говорит мне: “Садитесь, я вас доведу до пристани”.

Он довёз. А на пристани такая очередь машин, лошадей переправляться через Волгу на Бор. Шофёр взял мой вещмешок и понёс на первую машину, которая сейчас будет грузиться на пароход. На переправе меня тоже окружили люди, особенно мужчины, всем хочется узнать, как дела на фронте.

Переехали Волгу, добрались до Бора. Шофёр спрашивает меня, где я живу. Он меня подвёз прямо к дому. Шесть часов утра, стучу, открывает мама — радость необыкновенная...

### Возвращение

*Нет в воспоминаниях ни строчки, хотя бы кратко повествующей о днях отпуска, о разговорах с матерью во время его. Не каждая мать, проводившая на фронт сына или дочь, увидела вновь своё дитя. А тут — отпуск... Конечно, были счастливыми эти дни, но сторонится настоящее счастье рассказов о себе. Берегут люди от чужих глаз самое главное...*

Десять дней быстро пролетели. Вернулась в часть в Ригу. Вместо меня в группу послали Машу Болдышеву. Я подумала: вот и хорошо, а я в Риге буду. Пошла обедать, мне кричат: “Козлова, собирайся! Канцелярский приехал!” Он вылезает из машины и говорит мне: “Лёлочка, скорей, некогда, там поедим!” Я быстро взяла вещмешок и села в машину в кузов, там был Витя Торошин.

К передовой подтягивались войска, идут колонна за колонной. Едем по дороге, догоняем столб пыли, идут солдаты, на себе несут полное снаряжение и ручные пулемёты на себе тащат, глотают эту пыль. Солдаты усталые. Мне бросился в глаза маленького роста солдат из последней шеренги. Мне казалось, он сейчас упадёт от усталости.

Машина поравнялась с колонной, этот солдат посмотрел на машину, увидел меня — сидит девчонка. Распрямылся, голову поднял, да как крикнет: “Воздух! Воздух!” Как начали солдаты в нас яблоки кидать, и вся колонна кричит: “Воздух! Воздух!” Яблоко они набрали в садах в Прибалтике. Яблоко попадает по спине, по голове, по борту машины стучат. Витя говорит: “Так мы с вами и до передовой не доедем, нам свои головы снесут!”

Приехали на передовую — ребята обрадовались, что я опять к ним приехала. И Канцелярский такой добрый, ласковый стал, говорит: “Ведь Лёличка для нас как мать, сестра и подруга”.

У него с Болдышевой за время моего отпуска завязалась “любовь”, которая оказалась никому не нужна, особенно ребята встревожились. Да и сам он почувствовал: в такой напряжённой обстановке всё должно быть направлено на большое дело для Родины.

Акулов около костра, и я к нему подошла, помогать стала, а старшина говорит: “Ведь Лёля у нас чистенькая, из её рук приятно и взять”.

Ребята ко мне всегда хорошо относились. Только вот старшина Феладоненко и Канцелярский — у них свои запросы, начальствующие. А после моего отпуска их обоих как подменили, стали такие добрые и ласковые. Канцелярский больше меня никогда не ругал.

Уже холод, осень, ребятам привезли зимнее обмундирование, а мне нет, не привезли. Лёва Журкин мне отдал свои ватные брюки, говорит: “Нате, Лёля, а я пока в этих похожу. Вам привезут, я возьму”. А когда привезут — дней через десять. А холод, каждый день кости ноют...

### **Кёнигсберг**

*И опять перед глазами кровь и смерть. До победы надо ещё дойти, надо ещё дожить. И самыми тяжёлыми были последние месяцы войны. И выдержки не всегда хватало даже у сильных мужчин.*

7 апреля 1945 года вошли в Кёнигсберг. Грохот пушек, скрежет танков, гул самолётов. Это был ад кромешный. Стоят подбитые танки, пушки, наши и немецкие, валяются убитые лошади, убитых солдат санитары подбирают. А укрепления какие! Траншеи добротные, ежи, противотанковые рвы, надолбы. Во сне не приснится!

Стоят на улицах колонны пленных немцев. 92 тысячи. Стоят, смиренно опустив головы. А сколько наших — все пьяные, шатаются, начиная от солдата до генерала...

Город горит, никто его не тушит. Идёт полковник, еле на ногах стоит, смотрит на меня и говорит: “Дочка, да у тебя и медальки-то нету! Если бы ты была у меня, да у тебя вся грудь была бы в орденах!” Я скорее подвинулась к ребятам, к машине. (Подальше от царей, голова будет целей).

Приехал к нам начальник первого отдела 5-го управления МГБ, подполковник Муха. Видит, какой кошмар, говорит мне: “Козлова, от машины никуда не отходите”. Я села в кабину машины, стекло закрыла плащ-палаткой, чтобы не видеть мне этого кошмара. Ухватилась руками за руль, на руки голову положила и уснула. Мы же всю ночь не спали, да и предыдущие ночи спали на ходу.

Проснулась, смотрю: пушка, тянули три лошади в упряжке. Одна лошадь убитая лежит, средняя на коленках стоит, а третья прямо стоит. Сколько солдат, видимо-невидимо, а освободить лошадь некому, все вдрызг пьяны. Я сказала Новикову: “Лёша, освободи лошадей”. Он только распряг, как средняя лошадь вскочила на ноги.

### **Победа**

Двинулись на Берлин. Подтягиваются войска всех родов: танкисты, артиллерия, пехота. Жара 30°. Солдаты бегут, все грязные, у некоторых губы растрескались, изо рта кровь течёт, гимнастёрки выгорели — белые, от соли на спине сопрели, треснули.

Город горит, посередине улиц немцы сделали завалы — не проехать на машине. Из домов стреляют. Жара — асфальт плавится, сапоги прилипают. А танки идут — такие вмятины на асфальте...

Слышатся команды: “Вперёд! Вперёд! Не давать передышки врагу!” Обгорелые дома рушатся, иногда на бегущих солдат.

2 мая я была у майора Губанова, мы поехали к рейхстагу, там был митинг. Столько солдат — туда не добраться. Мы остановились у Бранденбургских ворот. На землю встала, ничего не вижу — стена солдат. Встала на машину, теперь вижу: солдат видимо-невидимо, вся площадь — одни солдаты.

После митинга солдаты кидают пилотки вверх. Выстрелы в воздух. Качают офицеров, кричат: “Ура! Победа!” А многие рухнули на землю — спать.

*Ольга Козлова, как и многие бойцы в те дни, расписалась на рейхстаге. Казалось бы, скоро домой. Но судьба решила иначе.*

Я вернулась в 1-й полевой отдел 5-го управления МГБ. Война закончена, но мы знали: не закончена. Подполковник Муха говорит: “Второй отдельный дивизион спецслужбы МВД передислоцируется на Дальний Восток”.

Надо кого-то посылать связь поддерживать, а кого? Мужчин на пониженную должность не пошлешь. Смотрит на меня. Я говорю: “Ладно, значит, война ещё не кончена. Я с ними поеду, до полной победы”. А так хотелось домой...

Но ещё не пора. Поехала с дивизионом на Дальний Восток. Война там быстро кончилась. Дивизион расположился в местечке Шкотово, а меня перевели в УМГБ города Владивостока.

### **Владивосток**

*Нам, родившимся после войны, не нюхавшим пороха, трудно представить, каково было человеку, прошедшему сквозь ад, возвращаться к обычной жизни. Особенно, когда тебя, солдата Великой Отечественной, встречают во все не цветами.*

*Мы помним у поэта:*

*Вы наплюйте на сплетников, девочки.  
Мы сведём с ними счёты потом.*

*Но это песня. А со сплетниками лицом к лицу оказывались они, порой совсем беззащитные, несмотря на свой фронтовой опыт, очень ранимые, забывшие, как носить туфельки, девчонки.*

Меня стали помещать в общежитие, комендант привёл меня в комнату девушек и говорит девушкам, чтобы подвинули койки, ещё одну надо поставить. В комнате было пять коек. Девчонки в общежитии как закричат: “Не надо нам! Вселяли хоть бы девушку, а то фронтовичку!” Особенно громко и раздражённо кричала Аня Коврижина: “Койку двигать не буду, вселяли хоть бы девушку, а то фронтовичку, позорить наше общежитие”. Все кричат, как в курятнике напуганные курицы.

Я стояла около двери молча, смотрела на их беленькие с простынками коврики и думала: “Они спать ложатся, раздеваются в тепле...” Мгновенно мысли перенеслись на фронт, в лес, где мы приготовили в ведре кашу, ведро не моем, опять снегу наложили — вскипятили чай. Размели на костре угли, положили ветки ели, устроили себе постельку, холод страшный. Командир где-то нашёл домбру без струн, стал на ней играть и припевать: “Вот мы нагреемся, немцам жару поддадим!” Всех нас заставил плясать: “Шадриков, ноги выше поднимайте! Новиков, присядку не забывайте!” Всем пример нам подаёт — играет, пляшет и поёт. Нагрелись...

А потом скомандовал: “Ложись!” И мы все легли на эти ветки немножко отдохнуть. Но спать нельзя: можно замёрзнуть. Лёша Шадриков меня дёрнул за рукав: “Лёля, передать скорее надо!” А у меня в руках не держится карандаш. Стала себе внушать: жарко, и только пальцы грела во рту, чтобы скорее зашифровать. Губы обмётаны, болячки, рот разевать больно...

А здесь, в общежитии, тепло, и только девчонки кричат одна громче другой: “Не надо вселять!” Надя Царенко видит, что я молчу, ни слова на их возражения, говорит мне: “Ложитесь на мою койку, я ухажу дежурить, а там разберёмся”. Мы с Надей долго спали на одной койке.

В выходной девчонки пошли на танцы в клуб моряков и меня пригласили. У меня гражданской одежды нет, я в форме младшего лейтенанта. Вошли мы в зал, здесь ничего не разрушено, духовой оркестр играет вальс. Как я обрадовалась...

Ко мне подходит пьяный капитан. Я думала, он хочет пригласить меня танцевать, а он встал, осмотрел меня с ног до головы и говорит: “А где у вас муж? Кто он, полковник, генерал?” Я ответила: “У меня нет мужа”. Он спрашивает: “Что, он оставил вас? Ничего. Война всё спишет!” Я больше не хотела с ним разговаривать и пошла от него в сторону. Он как схватил меня за руку, дёрнул с силой к себе, да как ударил по щеке и говорит: “Что, рангом ниже?”

Сколько народу – никто ни слова. Как же, ударили фронтовичку – это же последний человек! Я выскочила из клуба, вся в слезах, бегом побежала в общежитие. Всю дорогу плакала и всю ночь не уснула – всю ночь плакала...

На девчонок-фронтовиков все гражданские смотрели с таким пренебрежением. Даже в отделе УМГБ города Владивостока нас было 11 человек, и я появилась – одна девушка, и здесь пришлось пережить позор за то, что я фронтовичка. Особенно капитан Кондратюк, тоже фронтовик, как начал рассказывать разные вульгарные вещи, противно слушать. А что тут стесняться, тут же фронтовичка – последний человек... Я обращаюсь к начальнику Михаилу Савельевичу Солякову: “Можно за чернилами сходить?” Он скажет: “Сходите”. А я пойду в туалет, постою там минут десять – пусть поговорят без меня. Иду, сажусь и снова работаю. И это несколько раз было. Начальник Соляков потом поругал Кондратюка, и он прекратил свои рассказы.

Прихожу в общежитие – Аня Коврижкина лежит на койке, бледная, истекает кровью. Я говорю: “Девочки, Ане же плохо, надо “скорую”!” А Зоя Чикмарёва говорит: “Ну её к чёрту! Даст ей моряк американские зупки, она уже и готова”. Я говорю: “Ей же плохо!” Вызвала “скорую” и повезла её. В больнице меня спрашивают: “Что с ней?” Отвечаю: “Я не знаю”. Как начали меня медсёстры и врачи ругать, какими словами не обозвали... “Вот эти военные, им не воевать, а только...” Опять моя форма, я – последний человек.

Я ни с кем старалась не разговаривать, сажусь и молча выполняю свою работу. И в столовую так же иду – молча. Там большинство мужчин заговаривали со мной. Я посмотрю в глаза и тут же отхожу, ни слова не отвечу, будто я немая.

В столовой питались по талонам, встану в хвост, подойдёт моя очередь – мне уже ничего не достанется. Особенно в дефиците был винегрет. Это ведь не один день. Официантки видят, что девушка стоит, головы никуда не повернёт, стали мне оставлять. Подходит моя очередь – мне говорят: “Вот одна порция винегрета есть или салата”. Я села есть винегрет – у меня покатались слёзы. Я не хочу плакать, а как-то сами. Значит, до людей стало доходить, что фронтовичка тоже человек...

Во Владивостоке мы с девчонками пошли в театр на постановку Симонова “Под каштанами Праги”. Там Машенька была в плену, убежала. Когда пришла к своим, её старались накормить, она говорит: “Воды дайте! Воды! Помыться!” По сцене несут таз с горячей водой, пар идёт. Я как заплачу, слёзы ручьём потекли. Девчонки мне говорят: “Лёля, что с тобой?” Я ответила: “Вон таз с водой...” Они как захохотут!

А я подумала: Симонов – мужчина, а как тонко подметил первую необходимость для женщины. Я весь спектакль плакала. И надо сказать, во Владивостоке я часто стала плакать, по каждому поводу. На фронте было невыносимо трудно – я никогда не плакала. А тут...

## Кукла

В управлении в отделах было много холостяков. Они старались со мной заговаривать, но я, как немая, даже слова не отвечу. Когда дежурю по отделению в выходной, опять нашествие идёт – один, второй, но я уткнусь в свою работу и ни слова.

Зыков оказался серьёзнее и умнее. Он приходит, посмотрит, сколько у меня работ, тут же садится, берёт сложные дела и их сделает. В течение дня мы вдвоём сделаем много работы. У меня есть время ночью поспать.

Мне как-то невольно с ним пришлось разговаривать. Он сирота, и так судьба нас соединила. Мы в 1946 году поженились. Мне как невесте дали ордер на платье: вольт синий с цветочками и кирзовые туфли за 34 рубля.

Я сшила платье и поехала в Шкотово – соскучилась по ребятам. Подхожу: ребята сидят на лужайке, у них была политбеседа. Они увидели меня, радостно заговорили: “Лёля идёт! Лёля!” Я подошла, поздоровалась. Они говорят: “Лёля, садись с нами!” А как я буду садиться? – Я же в новом платье. Володя Оськин снял с себя гимнастёрку и постелил её на траву, говорит мне: “Садись, Лёля!” Я говорю: “Что ты, Володя!” Он сказал: “Да этой гимнастёркой, пока мы шли до Берлина, во всех сараях всю немецкую грязь пособирали, а здесь травка чистенькая, садись”. Я села.

Ребята уже узнали, что я замуж вышла. Саша Сизов говорит мне: “Эх, Лёля, Лёля, каких ты ребят променяла на этого рыжего!” Я ответила: “А он мне нравится!” Он: “Прошу прощения!”

Когда у меня родилась Наташа, я долго лежала в больнице. Муж приходит ко мне и говорит: “Надо доверенность, посылка из Москвы пришла”. Я сказала: “Из какой Москвы? Я Москву только по картинкам видела. Из Горького!” А когда вышла из больницы, посмотрела: да, посылка из Москвы, ул. Чкалова. Её прислала Александра Дмитриевна Оськина – мать Володи. В посылке записочка: “Лёля, поздравляю с дочкой!” И вещи детские: распашонки, пелёнки, костюмчик и большая кукла.

После, когда я приехала в Москву, заехала к Александре Дмитриевне – поблагодарить её за посылку. Она мне сказала: “Когда Володя прислал письмо и просил что-нибудь купить, то расписались все ребята и просили, и заверяли, что они деньги со своей солдатской получки вышлют. А что я могу купить? Ведь в магазинах после войны на полках хоть шаром покати. Я с этим письмом ходила к директору центрального ГУМа Москвы. Он мне сказал, когда прийти, и вот мне дали”.

Изо всех моих наград эта посылка – самая дорогая награда, она от ребят! До сих пор кукла хранится...

### **Послесловие**

*Ольга Степановна работала в управлении МГБ Владивостока до января 1949 года, уволилась из-за продолжительной болезни дочери Натальи. Врачи посоветовали уехать в Центральную Россию. Ольга Степановна уехала в г. Бор, на родину, затем туда приехал и муж. С 1952-го по 1958 год Ольга Степановна с мужем Иваном Фёдоровичем Зыковым находилась в служебной командировке в Берлине. Там у них родилась ещё одна дочь – Елена.*

*В ноябре 1958 года семья вернулась в СССР. Построили свой дом в городе Боре, где и прожили до смерти. С 1963-го по 1990 год Ольга Степановна работала воспитателем в молодёжном общежитии завода “Теплоход”. Умерла в октябре 2007 года после продолжительной болезни в возрасте 86 лет.*